



Иван Брехт "Кобу".
27-III-34. Уб. Бурман.

П. Иртель

И. А. Бунину

Из „Жизни Арсеньева“:

. . . Всякое мимолетное впечатление . . . рождало порыв не дать ему, этому впечатлению, пропасть даром, исчезнуть бесследно . . .

. . . Захватить в свою собственность и что-то извлечь из него.

. . . Дивился на красоту ночи: что же это такое и что с этим делать!

. . . Мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне . . . родственно чувствую . . . мысленно вижу.

. . . Жизнь „все-таки великолепная вещь“ . . . в ней есть нечто неотразимо-чудесное — словесное творчество.

. . . Отдал почти без остатка, — своему словесному ремеслу . . . осознанию и одушевлению своих вещей и дел.

. . . Меня томит желание . . . об этих мерзких местах сказать, выдумать что-то чудесное.

. . . Томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, что-то ни о чем и обо всем.

. . . Я мучился желанием писать что-то настоящее. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье, какой душевный труд!

. . . А что такое — писать? Это непрестанно и наиболее напряженно узнавать и чувствовать жизнь, ища в ней радующего, то есть дающего любовь . . . страдать всем, что мешает любви.

. . . Часто я вскакивал чем свет . . . Охватывало такое нетерпение как можно скорей — и нынче уже как следует! . . . Я крепко погружался в свое обычное утреннее занятие: в приготовление себя к писанию — в напряженный разбор того, что есть во мне, в выискивание внутри себя чего-то такого, что вот-вот, казалось, определится, во что-то образуется . . .

Это было в смутную, томительную осень. Ветер гнал с моря хлопья низко осевших, болезненно бывших дождем туч, лужа на дворике росла и менялась, в комнатах зажигали электричество. Я прихварывал и подолгу оставался на диване под жесткой, но теплой военной курткой.

В ту осень я перечитывал Пушкина — подряд. Помню, каждый раз на ночь, вместо молитвы, длинными страницами. Странное и легкое состояние — мне нравилось все, каждое слово поэта. Мучило, что нравится . . .

Стал я по особенному замечать предметы вблизи себя и людей, и пятна по забору, нагие клены, снег, заботу в движении встречного, несказанное слово. Все, на что ни падал мой возбужденный взгляд, виделось мне, как искусно схваченный эскиз быстрого художника. Я мысленно заключал каждое наблюдение в рамочку и спросил как-то священника, а, ведь, так приложить одно к другому: мир видимый — расчудесен! . . . Будто путь, а вдоль него — красоты. И жизнь — шествие, где все нравится. . .

Малые и длинные творения Пушкина, добрые и грозные ритмы, „поэмы“ — мелькнули: благим и умиряющим голосом акафиста. . . Принес из библиотеки Бунина — „Чашу жизни“. Город описанный был мой — обычное признание читателя, — но „Горизонтовых“ семью я, действительно, знал с детства, и за эту „мелочь“, что герой Бунинского сюжета был назван знакомым именем, полюбил рассказ. А в „Солнечном ударе“ узнал

родные воды Волги и розовый пароход о-ва Самолет, и с такой силой вернуло к ранним дням, к смыслу впечатлений того времени, что не было мне более свободы от Бунина. Этот писатель овладел мечтой. . . Записал я год, проведенный на побережье Босфора, в бедном предместьи Константинополя. Восстановил по памяти улочки Галаты, мастеровых и торгашей, гулкий и людный мост, мусульманские лампадки в Ая-Софии, сотни ступеней, взбегающих на Перу, воздух, воду и говор, переписал не раз и затерял тетрадь . . . И снова, демон Бунина — на страницах „Тени Птицы“ мне восстановил места, где я прошел, где жил и тосковал по счастью, и показал, „что надо было с этим сделать“ . . . Я проверил повествование Бунина опытом в живую. Бунин меня убедил, — „как выходит на бумаге“ правда, красота и смысл тех просторов и путей, где Богом нам положено быть.